

ФЕДОР АБРАМОВ  
**ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА**

*Роман*  
*(фрагменты)*

Часть первая  
Глава первая  
1

– Па-ро-ход! Па-ро-ход идет!

С пекашинской горы косиками – широкими проезжими спусками, узенькими, вертлявыми тропками покатались люди.

За разлившуюся озерину попадали кто как мог: кто на лодке, кто на ребячьем плотике, а кто посмелее – подол в зубы – и вброд. В воздухе стоял стон и гомон потревоженных чаек, черные чирята, еще не успевшие передохнуть после тяжелого перелета, стаями носились над головами ошалевших людей.

Так бывает каждую весну – к первому пароходу высыпает чуть ли не вся деревня. Потому что и весна-то на Пинеге начинается с прихода пароходов, с той самой поры, когда голый берег под деревней вдруг сказочно прорастет белыми штабелями мешков с мукой и крупами, пузатыми бочками с рыбой-морянкой да душистыми ящиками с чаем и сладостями.

В этом году никто не ждал даров из Архангельска – пинежские подзолы да супеси вот уже который год подкармливают отощавший город. Мало было надежд и на приезд фронтовиков. Где же им обернуться, когда только что кончилась война? Но давно, давно не видал пекашинский берег такого многолюдья. Ребятишки, девки, бабы, старики – все, кто мог, выбежали к реке.

Пароход из-за мыса не показывался долго. Костерик, наскоро сложенный из не просохшего еще хвороста, не разгорался, и люди, чтобы согреться, жались друг к другу.

Наконец у того берега, под красной отвесной щелью, леденисто сверкнул белый нос.

– «Кура», «Кура»! – закричали с насмешкой ребята, явно разочарованные тем, что вместо двинского богатыря-красавца к ним бредет маленький местный тихоход, который был построен пинежскими купцами Володиными еще в начале века.

Пароход с трудом подавался вперед, густо разбрасывая летучие искры по реке. Быстрым течением его откидывало к тому берегу, пенная волна задираала нос. И уныло-уныло выглядели грязные, свинцового цвета бока, все еще по-военному размалеванные в черные полосы.

Но голоса своего «Курьер» за войну не потерял. Пронзительно, молодо закричал он, подходя к берегу. Будто весенний гром прокатился над головами людей. И как тут было удержаться от слезы! В войну помогал, можно сказать, жить помогал «Курьер» вот этим самым своим гудком. Бывало, в самые черные дни как заорет, как раскатит свои зыки да рыки под деревней – сразу посветлеет вокруг.

Варвара Иняхина с молодыми бабенками, едва приткнулся пароход к берегу, вцепилась в старика капитана, единственного мужчину на пароходе:

– Чего мужиков-то не везешь? Разве не было тебе наказа?

– Смотри, в другой раз порожняком придешь – самого оставим.

– Ха-ха-ха! А чего с ним делать-то?

Тут кто-то крикнул:

– А вон-то, вон-то! Еще один пароход!

Пароход этот – плот с сеном – плыл сверху. Круто, как щепку, вертело его на излучине повыше деревни, и два человека, навалившись на гребь – длинную жердь с лопастью, вделанную в крестовину, – отчаянно выгребали к пекашинскому берегу.

– Да ведь это никак наши, – сказала Варвара. – Кабыть, Мишка с Егоршей.

– Его, его – Мишкина шапка. Вишь, как лиса красная.

– Это они с Ручьев, из лесу едут.

Бабы заволновались. Пристать к пекашинскому берегу в половодье можно только в одном месте – у глиняного отлогого спуска, там, где сейчас стоял «Курьер».

– Отваливай! – разногласо закричали они капитану. – Не видишь разве – люди к нам попадают.

– Отваливай, отваливай! Поимей совесть.

И капитан, чертыхаясь, уступил – отдал команду сниматься.

Плот с сеном впритык, под самым боком прошел у разворачивающегося парохода.

## 2

Пряслинский дом с реки не виден – амбар да подклет с разросшейся черемухой спереди, – и Михаил увидел свой дом, когда уже поднялся с возом в гору.

Изба была новая, с пестрыми стенами.

Клади избу прошлой осенью, перед самым его отъездом в лес. Клади второпях, из старья – новых бревен хватило только на верх и низ, и вот получилась хоромина военного образца: один угол увело в сторону, другой сел, когда еще не набрали крышу. А в общем, тепло в стенах держалось, и Пряслины, намерзнувшись в старой развалюхе, нахвалиться не могли новой избой.

Засмотревшись на красный флажок, вывешенный на углу избы, Михаил и не заметил, как лошадь поравнялась с окошками.

– Тпру-у-у! – закричал он и кинулся догонять воз.

Но еще раньше, чем он подоспел к лошади, ее перехватила мать.

– Вернулся! А мы ждем-ждем – все заждались. Мне бабы сказали, что Михаил у вас с сеном, – дак уж я рада.

Приподняв кверху худое, обветренное лицо, Анна старалась заглянуть сыну в глаза, но взгляд Михаила скользил поверх ее головы. И она, виновато посмотрев на разобранную изгородь спереди заулка, сказала:

– На той неделе это. Навоз возили.

– А с задворков подъехать не могли? Там через воротца хоть на тройке скачи.

– Да уж так получилось. Не додумали.

– Все вы не додумали. Кабы сами огороду запирали, небось додумали. А это что? – закричал Михаил, кивая на свалку за крыльцом. – Руки отпадут на поле выплеснуть?

Несколько смягчился Михаил, когда телега с сеном подошла ко двору. Даже остановился на какое-то время, словно прислушиваясь к тому, что делается там, у Звездони, за ржаными, почерневшими за зиму снопами, которыми для тепла были заставлены ворота двора.

Но Звездоня не догадалась подать голос хозяину, и за нее ответила Анна:

– Скоро. Все ладно, скоро опять с молоком будем. Две недели осталось.

– Не ошибаешься?

– Да нет. И сама и Степан Андреевич высчитывал. Так по срокам.

Сено и солому на поветь до прошлой осени Пряслины подымали по взвозу – бревенчатому настилу, – а осенью, когда Михаил был уже в лесу, взвоз обвалился, и корм с тех пор носили на руках.

Однако Михаил сейчас нашел другой выход – откидал от задней стены двора кряжи и телегу поставил так, что сено можно было перекидать вилами прямо с телеги на поветь.

Анна, пока он распутывал веревки на возу, докладывала о семейных делах: Лизка с Татьяной на телятнике, Петька и Гришка убежали за клюквой...

– То-то, я гляжу, нету их у реки, – сказал Михаил. – Все ребята у реки, а наших нету.

– Просились. Слезно молили: хотим к пароходу. Да я говорю: «Что вы? Где у вас совесть-то? Чем будете Мишу-то своего встречать?» Беда, тебя ждут. Только Миша один и на уме. Глаз из окошка не вынимают. Похвали их. Уж такие оба заботы – мы с Лизкой нынче ни дров, ни воды не знаем. Все они.

– Переползли в третий класс?

– Переползут. Августа Михайловна тут как-то встретилась: опасенья, говорит, не имею.

– А тот разбойник?

Анна отвела глаза в сторону.

Михаил снял с воза берестяную корзину с брякнувшим чайником, спросил недобрым голосом:

– Опять чего-нибудь натворил?

– Натворил. К учительнице в печь залез, кашу из крынки выгреб. – Анна вздохнула. – Не хотела я тебя расстраивать. Да что – не скроешь.

– Ладно, иди, открывай поветь, – сказал Михаил.

Сдвинув к переносью брови, он тяжелым взглядом обводил задворки деревни. С какой радостью он плыл сегодня домой! Война кончилась. Праздник небывалый. А тут не успел еще ступить на порог избы – старая веревочка закрутилась.

Федька – его давно уже не звали Федюшкой – был наказаньем всей семьи. Ворюга, повадки волчьи. А началось все с пустяков – с кочешка капусты, с репки, с горстки зерна, которые он начал припрятывать от семьи. Потом дальше – больше: в чужой рот полез. В прошлом году у Степана Андреевича восемь килограммов ячменной муки украл. Весь, до грамма, паек, выданный на страду. Люди, понятно, взбудоражились – кто? какой казнью казнить вора? А в это время рыжий дьяволенок спокойно каждое утро, как на работу, отправлялся в пустой овечий хлев на задворках, садился на чурак – специально для удобства принес – и запускал руку в мешок. Так сидящим у мешка на чураке и накрыла его Лизка...

И в кого он такой выродок? – снова, в который раз задавал себе вопрос Михаил.

Мать открыла ворота на повети, подала ему вилы. Вдвоем они быстро разгрузили телегу. Потом Анна спустилась к нему с граблями и начала старательно загребать сенную труху.

– Брось, – сказал Михаил. – Незавидное сено. Осенщак.

– Что ты, я вся рада. Без корма живем. Будет у людей зависти.

– Нашли чему завидовать. Мы с Егоршей помучились с этим сенцом – будь оно неладно. Осенью собирали черт-те где. А сейчас на себе через болота таскали – ну-ко, попробуй. – Михаил посмотрел вокруг, хмуро поджал губы: – Когда надо, наших ребят никогда нету.

– Ты насчет лошади? – Анна живо и предупредительно закивала. – Не беспокойся. Иди в избу. Я отведу. – И вдруг, взглянув в сторону колодцев, всплеснула руками: – Да ведь там, кажись, они, разини? Вот как расселись – ничего не видят.

За первым колодцем на белой жердяной изгороди возле болота и в самом деле торчали две серенькие фигурки, очень похожие издали на огородные чучела.

– Чего ворон-то считаете? – закричала Анна и замахала рукой. – Не видите, кто приехал?

– Давай-давай! – закричал Михаил, подзадоривая затрусивших по дороге братьев. – А ну – который быстрее?

Петька и Гришка подбежали запыхавшиеся, худющие, бледные, как трава, выросшая в подполье. Даже бег не выдавил краски на худосочных лицах, хотя глазенки их, устремленные на старшего брата, сияли неподдельной радостью.

Они все еще были разительно похожи друг на друга, так похожи, что даже на двор, как шутили в семье, бегали в одно и то же время. Дома их, конечно, не путали, а вот соседские ребятишки для удобства окрестили их по-своему. Года два назад Гришка рассадил верхнюю губу, напорвшись на гвоздь, и с тех пор Михаилу не раз приходилось слышать: «Эй ты, половинка щербатая!» По шраму отличала их друг от друга и учительница Августа Михайловна.

– Молодцы у меня, – сказал Михаил и поощряюще потрепал того и другого по плечу. – Перескочили, значит, в третий?

Похвала старшего брата доставила близнецам величайшее удовольствие. Они застенчиво переглянулись друг с другом, посмотрели на мать.

– Чего принесли? Угощайте своего Мишу.

Петька и Гришка с готовностью протянули берестяные коробки – в них на вершок вперемешку с мусором рдела мелкая мокрая клюква.

Михаил взял по ягодине из каждой коробки, морщась, скользнул взглядом по тонким босым ножонкам, по мокрому низу штанов.

– Больше не бродите. Ну ее к лешему! Вот погодите – война кончилась, в сапогах скоро ходить будем. А сейчас на конюшню. Быстро!

Петька и Гришка – не надо говорить два раза – живо вскарабкались на телегу, сели рядышком в передок, оба взялись за вожжи. И чем дальше удалялась телега, тем все больше казалось, что едет один человек.

А может, вот то, что они так жмутся друг к другу, и помогло им выжить в это время? – подумал Михаил.

Он поднес руку ко рту:

– Возвращайтесь скорей! Чай будем пить. С хлебом! С настоящим! – добавил он громко.

### 3

Войдя в избу, Михаил поставил на пол плетеную из бересты корзину, к которой сверху были привязаны продымленный чайник и котелок, бросил к кровати мешок с валенками, затем расстегнул ремень с железной натопорней и большим охотничьим ножом в кожаных залощенных ножнах, снял старую, побелевшую от дождей и снега и не в одном месте прожженную фуфайку, снял шапку-ушанку из рыжей мохнатой собачины, вышел из-под полатей, разогнулся.

Вот он и дома...

Не много ему приходится жить дома. С осени до весны на лесозаготовках, потом сплав, потом страда – по неделям преешь на дальних сенокосах, – потом снова лес. И так из года в год.

Пол был вымыт – приятно, когда тебя ждут. Стены в избе еще голые – нечем оклеить, газету с трудом на курево раздобудешь. Только под карточкой отца, убранной полотенцем с петухами, висел ярко-красный плакат: «Все для фронта, все для Победы!».

Михаил прошел в задоски, заглянул в девчешник – так называли маленький закуток с одним окошком за задосками. Мать отговаривала его, когда он затеял делать отдельный угол

для сестер. Но он настоял на своем. Нехорошо спать Лизке в общей свалке с ребятами. Девка. Надо вперед немного заглядывать.

В девчешнике у стены стояла койка на сосновых чурочках. Койка была аккуратно застлана старым байковым одеялом, а в головах, как положено, подушка. Михаил улыбнулся: все это Лизка соорудила без него. Полтора месяца назад, когда он последний раз приезжал домой из лесу, койки еще не было.

И еще раз он улыбнулся, когда, вернувшись в избу и снова оглядывая ее, наткнулся глазами на новый стояк у печи с карандашными пометками и ножевыми зарубками. Живут Пряслины!

Анна, все время не сводившая глаз с сына, облегченно вздохнула: ну, слава богу, хоть избой остался доволен.

– Самовар ставить или баню затоплять? – спросила она.

– Погоди маленько. Дай в себя прийти.

Михаил сел на прилавок к печи, снял кирзовые сапоги – на правом опять голенище протерлось, сунул ноги в теплые, с суконными голяшками валенки, которые подала ему мать с печи. Вот теперь совсем хорошо.

– Холодно на реке-то, – сказал он, свертывая сигарку.

– Как не холодно. Я навоз с утра возила – до костей пробирает.

– Пахать еще не собираются?

– Готовятся. Ждут тебя. Анфиса Петровна сколько раз поминала: где у нас мужика-то главного нету?

Чиркнув кресалом по кремню, Михаил выбил искру, помахал задымившейся суконкой, чтобы та разгорелась лучше. Затягиваясь, скосил на мать карий улыбающийся глаз.

– Ну как тут у вас победы праздновали? Шумно было?

– Было. Всего было. И шуму было, и слез было, и радости. Кто скачет, кто плачет, кто обнимается... – Анна хлюпнула носом, но, заметив, как на обветренных коричневых щеках сына заходили желваки, поспешно смахнула слезу рукой. – У правленья улица народу не подымала. Речи говорили, с флагами по деревне ходили. Потом на заем стали подписываться. Я без памяти-то на триста рублей подписалась.

– Я тоже маханул, – сказал Михаил. – На полторы тысячи.

– Ну вот. И Лизка, глупая, пятьдесят рублей выкинула, Ей-то бы уж совсем незачем. Не много зарабатывает. Галстук красный вывесили на дом, и ладно...

– Пущай. – миролюбиво сказал Михаил. – Такой день...

– Да ведь деньги-то не щепка – на улице не валяются. А тут на днях налог принесли.

– Налог? – Михаил озадаченно посмотрел на мать. До сих пор налоги обходили их стороной.

– На тебя выписан.

Михаил затыкнулся, шумно выпустил дым.

– Не забыли. Мне когда восемнадцать-то? Через две недели?

– То-то и оно. Я уж говорила Анфисе Петровне. «По закону, говорит. До первой платы, говорит, в годах будет».

Обжигая губы, Михаил докурил сигарку, размял на ладони притушенный окурок, остатки махорки ссыпал в железную баночку.

– Ничего. Как-нибудь выкрутимся. В постоянный кадр на лесопункт думаю проситься. В лесу теперь и хлеба больше давать будут, и кой-какой паек на иждивенцев положат. Опять же мануфактура...

Тут на крыльце часто-часто затопали ноги, дверь распахнулась, и в избу вихрем влетела Лизка, а в следующую секунду она уже обнимала брата за шею.

– Мне как сказали, что у вас хозяин приехал, дак я лечу – ничего не вижу. Танюха сзади: «Лизка, Лизка, стой!..» Ладно, думаю, не кошелек с деньгами – не потеряешься.

Вдруг Лизка нахмурилась, глянув на Петьку и Гришку, которые вбежали вслед за ней.

– Где девка-то? Бессовестные! Ребенка бросили. А ну марш за ней!

Вот за эту распорядительность да за хозяйскую сноровку Михаил любил сестру. Не на матери – на Лизке держится семья, когда его нет дома.

Он с чуть приметной улыбкой разглядывал сестру, пока та, привстав на носки, вешала под порогом свою пальтуху. Белая, льняная голова у нее была гладко зачесана, и толстая, туго заплетенная коса с красной ленточкой спадала до поясницы. В общем, по косе уже девка. Но в остальном... В остальном ничегошеньки-то для своих пятнадцати лет. Как болотная сосенка-заморыш...

И, словно угадав его мысли, Лизка живо обернулась. Скуластое лицо ее, густо присыпанное желтыми веснушками у зеленых глаз, слегка порозовело.

– Что? Как кощей страшный, да? – спросила она прямо.– Ладно, не всем, как Раечка Федора Капитоновича. Кому-то и мощой надо быть.

И за эту простодушную прямоту он тоже любил сестру.

– Мама, ты чего не шьешь, не порешь? – начала, не мешкая, распорядиться Лизка.– Самовар будем греть или баню затоплять?

А еще какую-то минуту спустя она уже утешала плачущую, в три ручья заливающуюся слезами Татьянку, которую, подталкивая, ввели в избу двойнята.

Михаил услышал, как она нашептывала Татьянке на ухо:

– Подойди. Скажи: «Здравствуй, Миша. С приездом». Да за шейку его.

Татьянка заупрямилась, и Лизка моментально рассердилась:

– Ну еще, волосатка! Никогда больше не возьму на телятник. Сиди дома.

– А вот посмотрим, что она сейчас запоет... – Михаил подтащил к себе корзину.

Рот у Татьянки сразу встал на свое место, а Петька и Гришка – те просто выросли на глазах.

Посмеиваясь, Михаил извлек из корзины кусок голубого ситца с белыми горошинами, протянул Лизке.

– Это тебе, сестра.

– Мне? – Лизка часто-часто заморгала глазами и вдруг расплакалась, как ребенок.

Михаил отвернулся, начал шарить банку с махрой.

– Ну дак не реви, не взамуж отдают, – сказала мать, сама не в силах удержать слезы, – Чего надо сказать-то, глупая?

Лизка, крепко, обеими руками прижимая к груди ситец, сунулась на колени и еще пуще прежнего разрыдалась. Первый раз в жизни ей подарили на платье.

– Ну, ну, успокойся, сестра, – пробормотал Михаил.

– А мне? – требовательно топнула ногой Татьяна, готовая вот-вот снова разреветься.

– Хватит и тебе. И матерь, может, чего для себя выкроит. Восемь метров.

Вслед за тем Михаил достал из корзины новые черные ботинки на резиновой подошве, с мелким рубчатый кантом и парусиновой голяшкой.

– Ну-ко, сестра, примерь.

– И это мне? – еле слышно пролепетала Лизка, и вдруг глаза ее, мокрые, заплаканные, брызнули такой неудержимой зеленой радостью, что все вокруг невольно заулыбались – и двойнята, и мать, и даже сам Михаил.

Тут же, не сходя с места, Лизка села на пол и начала стаскивать с ног старые – заплате на заплате – сапожонки.

– Ты хоть бы обнову-то не гвоздала, – сказала мать и взяла у нее с коленей ситец.

– Ботинки-то, наверно, великоваты, – предупредил Михаил. – Не было других. Три пары на весь колхоз дали.

– Ладно, из большого не выпаду. Чем-чем, а лапами бог не обидел.

В избе заметно посветлело, когда Лизка, неуверенно, с осторожностью ступая, раза три от порога до передней лавки прошла в новых, поблескивающих ботинках.

Не были забыты и ребята. Для них Михаил – Егорша уступил ему свои промтоварные талоны – привез синей байки на штаны. Но Петька и Гришка, вопреки его ожиданиям, довольно сдержанно отнеслись к этому подарку. А вот когда он вытащил из корзины буханку – целую увесистую кирпичину ржаного хлеба, – тут они взволновались не на шутку и в течение всего времени, пока грелся самовар, не сводили глаз со стола.

Как раз к самому чаю, только что сели за стол, явился Федька.

– Он уж знает, когда прийти. Как зверь, еду чует...– заговорила было Лизка и осеклась, взглянув на старшего брата.

Михаил, распрямляя спину, медленно поворачивал голову к порогу.

– Ну, что скажешь? Где был?

Федька стоял, не шевелясь, с опущенной головой. На нем была та же рвань, что на остальных, и кормили его не по-особому, но веснушчатые щеки у него были завидно красны, а босые, уже потрескавшиеся ноги выкованы будто по заказу – крепкие, толстые, и пальцы подогнуты, пол когтят.

– Что скажешь, говорю? Ну? – снова, чеканя каждую букву, спросил Михаил.

– Отвечай! Кому говорят? Где был? – опять не выдержала Лизка.

И тут Федька ширнул носом, поднял глаза, холодные, леденистые, и вдруг эти ледышки вспыхнули: хлеб увидели.

Вот и потолкуй с этим скотом, – вздохнул про себя Михаил, – когда у него брюхо наперед головы думает. Да и не хотелось ему портить праздник – не часто-то он у них бывает. И он, к великой радости матери и двойнят, которые болезненно, до слез переживали всякий разлад и ссору в семье, махнул рукой.

У ребят дыхание перехватило, когда он взялся за буханку. Давно, сколько лет не бывало в их доме такого богатства.

Коричневая, хорошо пропеченная корочка аж запищала, заскрипела под его пальцами. И вот что значит настоящая мука – ни единой крошки не упало на стол.

Легко, с истинным наслаждением развалил он буханку пополам – век бы только и делал это, – затем одну из половин разрезал на четыре равные пайки.

Танюшке – пайка, Петьке – пайка, Гришке – пайка, Федьке...

Рука Михаила на секунду задержалась в воздухе.

Мать, не привыкшая к такому расточительству, взмолилась:

– Ты хоть бы понемножку. Они хоть сколько смелют.

– Ладно. – Пайка со стуком легла перед Федькой. – Пусть запомнят победу. – Михаил поднял глаза к отцовской карточке. – Это мне начальник лесопункта Кузьма Кузьмич

подбросил буханку. Уже перед самым отъездом. – На, говорит, помяните отца. Вместях раньше работали».

Мать и Лизка прослезились. Петька и Гришка, скорее из вежливости, чтобы не огорчить старшего брата, поглядели на полотенце с петухами. А Татьяна и Федька, с остервенением вгрызаясь в свои пайки, даже и глазом не моргнули.

Слово «отец» им ничего не говорило.

4

После чая Михаил разобрался с бритьем (он с прошлой осени начал скоблить подбородок носком косы), мать, прихватив растопку, пошла затоплять баню, а Лизка побежала к Ставровым.

Со Ставровыми Пряслины жили коммуной, считай, всю войну, чуть ли не с весны сорок второго года. Они держали на паях корову, сообща заготавливали сено, дрова, выручали друг дружку едой. Больше всего, конечно, от этой коммуны выигрывали Пряслины, но и Степан Андреевич не оставался в накладе. Анна и Лизка обстирывали и обмывали его с внуком, держали в чистоте их избу, и хлопот насчет бани Ставровы тоже не знали.

Ветер под вечер стих. Из белесых лохматых облаков проглянуло оловянное солнышко, и далеко, на пекашинских озимях, кричали журавли. Первый раз за нынешнюю весну, – отметила про себя Лизка.

Она бойко вышагивала по унылой, твердой, как камень, дороге – ни одной еще травинки не было на лужайках – и мысленно видела себя в новых ботинках, в новом голубом платье с белыми горошинами. И вообще все, все теперь, казалось ей, будет иначе. Им не придется больше давиться колючим мохом, толочь в деревянной ступе сосновую заболонь, и по утрам не будут больше, мучаясь запорами, кричать с надворья ребята: «Ма-а-ма-а, умираю...» Какое это счастье, что у них такой брат!

Степан Андреевич затоплял печь. Красные отсветы играли на его бородастом лице. Наверно, что-нибудь для Егорши варить собирается, догадалась Лизка.

– А, невеста пришла, – сказал с улыбкой Егорша. Он лежал на печи, голые ноги крест-накрест, в зубах самокрутка.

Лизка хмыкнула:

– Невеста без места, жених без штанов.

– А вот и в штанах, – рассмеялся Егорша.

– Хватит тебе зубанить-то, – одернул его Степан Андреевич.

Егорша придурковато высунул язык, но разговор переменял:

– Ну, что Мишка делает?

– Что делает! Он без Мишки-то часу прожить не может. Не ты – без дела не лежит. Я пришла сказать, – обратилась Лизка к Степану Андреевичу, – баню-то не топите. Мы топим.

Она цепким, бабьим глазом обвела избу.

– Ну-ко, я хоть маленько приберу у вас.

– Брось, Лизавета, – сказал Степан Андреевич. – Сами с руками.

Но Лизка уже смачивала под рукомойником веник. Затем, подметя пол, она по-свойски прошла в чулан, вынесла оттуда грязное белье старика, бросила на пол.

– У тебя есть чего?

Егорша скосил прищуренный глаз на деревянный сундучок, стоявший у кровати.

– Вон мой чемодан. Доверяю.



В задосках загремела кочерга.

– Мог бы и сам достать. Рановато барина-то из себя показывать.

Егорша нехотя спустился с печи – босиком, в белой нательной, давно не стиранной рубаше с расстегнутым воротом и выпущенным подолом, – зевнул, потягиваясь.

– Лежать-то тоже надо умеючи. – И подмигнул Лизке: – Одна баба лежала-лежала – ногу отлежала. На инвалидность перевели.

Был Егорша невысок, худощав и гибок, как кошка. Смала Егорша очень походил на робкую, застенчивую девчущку. Бывало, взрослые качнут зубанить – жаром нальются уши, вот-вот, думаешь, огонь перебросится на волосы – мягкие, трепанные, как ворох ячменной соломы. Но за три года житья в лесу Егорша образовался. Стыда никакого – сам первый похабник стал. Глаз синий в щелку, голову набок, и лучше с ним не связывайся – кого угодно в краску вгонит.

К деду Егорша переехал в сорок втором году, после того как мать задавило деревом на лесозаготовках. Степан Андреянович завел было разговор о перемене фамилии, но Егорша заупрямился. Тем не менее в Пекашине все и в глаза и за глаза называли его Ставровым. И тогда Егорша схитрил: к отцовской фамилии Суханов стал приписывать фамилию деда.

– Со мной, брат, не шути, – говорил он, довольный своей выдумкой. – У меня, как у барона, двойная фамилия.

Легкой, развинченной походкой Егорша прошел в задоски, зачерпнул ковшем воды из ушата, напился.

– По последней науке, говорят, ведро воды заменяет сто грамм.

– Чудо горохово! Всё про вино, а сам рядом-то с бутылкой не стоял.

– Так, так его, – поддержал Лизку Степан Андреянович.

Егорша вынул из сундучка скомканное белье, навел на Лизку свой синий глаз с подмигом:

– На, стирай лучше. Когда-нибудь из сухаря выведу.

– Больно-то мне надо!

– Ну, ну, не зарекайся. В клуб-то нынче ходят?

Степан Андреянович, сливая в чугунок воду, покачал головой:

– У нашего Егора одно на уме – клуб.

– А чего! Война кончилась – законное дело. Кто теперь играет? Раечка?

– Она когда в балалайку побренчит, – сказала Лизка и вдруг рассердилась: – Да ты думаешь, у нас тут только плясы и на уме?

Егорша опять зевнул.

– Я не про тебя. Я про девок.

Слыхала, слыхала она от этого злыдня кое-что и похлестче – за словом Егорша в карман не лез. Но нынешняя насмешка показалась ей почему-то столь обидной, что она схватила узел с бельем и, даже не попрощавшись со Степаном Андреяновичем, хлопнула дверью.

## 5

Дома шла стрижка – обычное дело в день приезда старшего брата.

Двойнята уже расстались со своей волосней и, покручивая непривычно легкими головами, влюбленно следили за рукой Михаила, лязгающей черными овечьими ножницами над Федькиной головой.

Федьке приходилось туго: ухо у него против света горело, как жирная волнуха, и по веснушчатым щекам текли слезы. Но он крепился и на вошедшую в избу сестру даже не взглянул.

– Что Егорша делает? – спросил Михаил.

Лизка всплеснула руками:

– Да вы что – сговорились? Тот: «Что Мишка делает?» Этот: «Что Егорша делает?»

Она взяла под порогом веник, запахла в кучу ребячьих волосы.

– Ты ничего не слышал?

– Нет. А что?

– Старовер приехал.

– Какой старовер?

– Много ли у нас староверов? Евсей Мошкин. В поле сейчас стоит, у своей избы. Сегодня, сказывают, приехал. До Лиственничного бора на «Курьере» шел, а оттуда пешком. Не захотел дожидаться, куда пароход дрова возьмет.

За этим многоречивым плетением Михаилу почудилась та же самая тревога, которая холодком подползла и к его сердцу. Прошлой осенью, когда в спешке ставили им избу, бревна собирали по всей деревне и три венца взяли с развалин Евсея Мошкина. Конечно, с согласия правления колхоза.

—Сиди! – зло тряхнул Михаил заворочавшегося Федьку.

Наскоро оборвав остатки волос на рыжей голове, он накинул на себя ватник, вышел на улицу.

На задворках, в поле, там, где стояла изба Евсея Мошкина, никого уже не было.

Михаил взял колун с крыльца и пошел в дровяник. Он всегда так делал, когда хотел что-то обдумать. Правда, в данном-то случае и обдумывать было нечего. Бревна с Евсеевой избы подсказала снять Анфиса Петровна, так что пускай она и рассчитывается с Евсеем.

Да, но бабам-то рот не заткнешь, – подумал Михаил. – Начнут теперь вздыхать да охать. Вот, скажут, какие нынче люди пошли. Подошел Евсеюшко к своему домику, а там не то что избы – бревнышка ладного нету. И что ты возразишь? Что скажешь на это? Пускай ты хоть век не виноват, а бревна-то на твоей избе. Каждому прохожему видно.

Михаил сплеча всадил в суковатую чурку колун, затем старательно, на все пуговицы, застегнул ватник и пошел к Марфе Репишной, дальней родственнице Евсея.

У Марфы Репишной Пряслины каждую зиму, начиная еще с довоенного времени, морозили тараканов, и Михаил хорошо знал ее избу. Старинная изба. Окнышки маленькие, высоко над землей, а потолок и стены из гладко оструганного кругляша – золотом светятся. И дух в избе вкусный, травяной. Особенно бросается, когда в холодное время с надворья заходишь: будто из зимы в лето попадаешь.

На этот раз травяной запах заглушала смола: Евсей щепал лучину.

Ловко, красиво сбегал с полена тонкий розовато-белый ремень. Как живой: чуть-чуть потрескивая и мягко выгибаясь. А когда этот ремень совсем отделился от полена, Евсей не дал ему упасть на пол, а быстро подхватил его и покачал на весу: а ну-ко, скажи, друг-приятель, на что ты пригоден (знакомая Михаилу привычка), и бросил отдельно, в сторону от растопки, – надо полагать, для дела.

Сам Евсей, к немалому удивлению Михаила, оказался совсем не таким, как представлял он его себе, шагая к Марфе. Он-то думал увидеть какого-нибудь доходягу, тень от человека, раз столько в лагерях отбухал, а тут – держите ноги: пень смоляной. Щеки румяные, гладкие, как мячики, в рыжей окладной бороде ни единой пожухлой волосины, и голова тоже медная, в скобку острижена, подрубом.

Потом, правда, Михаил разглядел: старик. И рука правая в трясучке, и кожа на шее сзади потрескалась, как кора на старом дереве. Но все равно – впечатление засмолевшего,

забуревшего пня, с которого, как вода, стекают и время, и всякие житейские невзгоды, осталось.

– Чей это молодец-то будет? – спросил Евсей у Марфы.

Марфа подняла голову от рубахи, которую чинила, поглядела на Михаила своими полубезумными глазами и ничего не сказала. У нее, как казалось Михаилу, и раньше кое-каких винтиков не доставало, а после смерти мужа она и совсем ослабла головой.

Михаил назвал себя.

– Ивана Пряслина сын! – воскликнул Евсей. Он вскочил на ноги, всплакнул, замотал головой. – Осподи, Ивана Гавриловича сын... Михайло Иванович – так, кабыть? Вот как, вот как время-то идет, робятушки! Давно ли Иван Гаврилович сам молодецвал, а тут такой сын. В отца, кабыть, натурой-то, только тот волосом посветлей был. – Евсей опять, поохав, повздыхав, сел на лавку. – А меня-то помнишь? – спросил он, и вдруг в мокрых щелках его вспыхнули любопытные, по-ребячьи лукавые огоньки.

Михаил отрицательно покачал головой.

Огоньки потухли.

– Где помнить. А я вот тебя запомнил. Бывало, все к моим ребятам бегал. Вот такой махонькой. – Евсей показал рукой.

Михаилу смутно припомнились двое мальчуганов-сирот, живших когда-то неподалеку от них на задворках. Старшего, кажется, звали Ганькой, а у младшего – это он хорошо помнит – было прозвище Тяпа. Ребятишки бедному Тяпе из-за того, что у него была большая белая голова да кривые, как ухваты, ноги, не давали житья. И Михаил тоже травил его:

– Тяпа, Тяпа, не упади!..

А Тяпа не отвечал. Тяпа, казалось, не замечал этих обидных выкриков. И все катился да катился себе мимо, как колобок. И, как колобок, улыбался своей светлой, кроткой улыбкой.

– Нету, ни которого нету в живых. Оба убиты – и Гаврило и Алексей, – вздохнул Евсей. – И у тебя родитель, сказывают, остался там?

– Остался.

– О господи, господи! Сколько народушку побито. Весь цвет в войне выгорел. А семья-то у вас большая?

– Шестеро, кроме меня.

– Ох, Михайлушко, Михайлушко! Ну дак тебе досталось. Взвалила война на твои плечи ношу...

Михаил встал.

– Я насчет бревен зашел сказать. Это я увез их с твоей избы.

Евсей отмахнулся:

– Что ты, бог с тобой, Иванович. Не ты начал рушить мое строенье, не ты кончил. Сеструха Марфа Павловна пригрела меня, и слава богу.

– В общем, так, – сказал Михаил. – Мне чужого не надо. Нарублю и отдам.

– Нету чужих, Михайлушко. Все люди родня. А мы с тобой еще родники по крови. Не слыхал? Так, так. Спроси у старых людей. Старые-то люди помнят. Мой-то отец да мать твоего отца – бабушка тебе – троюродными братом да сестрой доводились. Отец у тебя помнил. Бывало, выпьет, дядей назовет. Ничего, шибкой был, а худого слова не скажу. Обходительный со мной был...

В избу вошла запыхавшаяся Лизка.

– Вот где он! Я по всей деревне ищу, а он как не знает, что баня поспела.

– Сестра тебе? – спросил Евсей. – Как звать-то?

– Лизаветой, – сказала Лизка и хмуро, почти враждебно посмотрела на Евсея.  
– Так, так, – ласковой улыбкой ответил ей Евсей. – Лизавета Ивановна, значит. Характером-то, кабыть, в бабку Матрену Прокопьевну. Счастливая будешь.  
Михаил с каким-то смутным и непонятно-тревожным чувством вышел на улицу.

## Глава вторая

### 1

Эх, жар-суховей, пар – береза на спине!

В Пекашине любили попариться. Бывало, в субботу стукоток стоит за колодцами, у болота (там банный ряд): трещат, хлопают двери, раскаленные мужики да парни вылетают в белом облаке и бух-бух в снежный сумет или в озерину.

И в войну не забывали баню, в самые черные дни топили. А как же иначе, если это и твоя единственная отрада в жизни, и твоя оборона от всех болезней и хворостей?

Пряслинская баня была приметна не сама по себе – какие же особые приметы у черной бани? Она была приметна кустами – двумя черемшинами и пятком тоненьких рябинок, росшими возле сенцев.

Летом – что и говорить – приятный дух от черемшинок, но если бы эти кусты не были посажены отцом, Михаил и дня бы не держал их у бани. Приманка для ребят – вот что такое эти кусты. Особенно черемуха. Весной и осенью каждый пацан лезет на нее, а раз пацан возле бани – не бывать стеклу в окошке. Это уж точно. И в окошке пряслинской бани вечно торчит веник.

– Алё? – подал голос Михаил, входя в сенцы. – Есть жар?

– Есть, наверно. Мне с этим жаром-паром не на луну лететь, – замысловато ответил из бани Егорша.

В бане из-за веника в оконце было темновато, и Егорша, растянувшийся на полку, напоминал березовый кряжик. Михаил против него был мужик. Кожей смуглый – в материн род, а всем остальным – и костью и силой – в отца.

Горбясь под низким черным потолком, он дотронулся пальцем до каменки – хорошо накалена! – и зашуршал березовым веником.

Егорша панически приподнялся на полку:

– Ты что – опять будешь устраивать Африку?

– Да надо немножко кровь разогнать. У меня что-то ухо правое ломит – надуло, наверно, на реке.

– Ну, тут наши пути-дороги расходятся, – сказал Егорша.

– А ты знаешь, кого я сейчас видел?

– Кого? – спросил Егорша, слезая с полка.

– Попа!

– Какой это к хрену поп! Дурак старый – вот кто.

– Да ты знаешь, о ком я?

– Знаю, – невозмутимо ответил Егорша.

Оказывается. Егорша еще раньше его. Михаила, видел Евсея Мошкина, ибо по дороге домой от реки он завернул в правление – узнать, как и что тут делается, в Пекашине, – и нос к носу столкнулся с этим так называемым попом.

– Почему с так называемым? – запальчиво возразил Михаил. – Я еще ребенком был, помню, его попом называли.

– По глупости.

– А за что же тогда его пятнадцать лет катали в лагерях, ежели он не поп?

– Потому что осел на двух копытах. Ему в сельсовете ясно было сказано: брось, говорят, Евсей, всю эту музыку. Не мути народ. Новую жизнь строим и все прочее... А он, пень упрямый, свое. Ну и гуляй до лагерей. А чего еще с ним цацкаться, раз он русского языка не понимает?

– Хм...– сказал недоверчиво Михаил. – А откуда ты все знаешь? Ты ведь у нас в ту пору не жил.

– Чего знаю? Это что его в лагерь-то закатали из-за своей дурасти? Да уж знаю... – Егорша поплескал в лицо водой из ушата и убежденно сказал: – Нет, это не поп. Такой же Ванек пекашинский, как все прочие. Только мозга еще больше набекрень. Нет, вот я был в прошлом году в Архангельске – это вот да, поп. Идет по улице, сарафан черный до пят – рясой называется. Я еще сперва подумал: баба. Нет, говорят, поп...

Михаил, приспособившаяся к короткому полку свои длинные ноги, попросил:

– Плесни маленько.

Каменка загрохотала, как пушка. Сухой, каленый жар придавил Егоршу к полу.

– Между прочим, – заговорил он немного погодя снизу, – религия эта много денег на войну собирала...

– Подбрось еще ковшик! – оборвал его Михаил. Он терпеть не мог, когда Егорша начинал говорить с ним вот этим поучающим тоном.

– Ну, ты и зверь! Скоро, как мой дедко, в рукавицах хвостаться будешь.

– Давай-давай.

– Да мне-то что – жалко? Вода еще не по карточкам. – Егорша зачерпнул из ушата, отступил, пригибаясь, в сторону.– Господи, благослови...

Когда немного спала жара, он ползком стал пробираться к дверям.

– Ну тебя к лешему! Я еще не грешник, чтобы в таком аду жариться. Пошел на водные процедуры. Идешь?

– Говорю, у меня простуда.

Михаил повернулся на бок, прошелся веником по спине, потом, упершись ногами в каленые потолочины, еще раз похлестал колени (с осени сорок второго года, с той самой поры, как он пошел в лес, поскрипывает у него в коленях) и наконец, совершенно обессиленный, выпустил из рук обтрепавшийся веник.

С улицы донесся женский визг, хохот – не иначе как Егорша на кого-то напоролся нагишом, – затем немного погодя за стеной у болота раздался всплеск воды – Егорша нырнул в озерину.

Михаил поспешно слез с полка, кинул жару.

– Ух, ух! – с суматошным криком ворвался в баню Егорша. – Вот теперь и нам подавай градусов.

Щелкая зубами, он с ходу вскочил на полку, замолотил ногами.

– Веник дать?

– Нет, нет, ну его к дьяволу! Не люблю.

– Ты чего это там разорялся? – спросил Михаил, устраиваясь для мытья на чурочок против оконца.

Егорша захохотал.

– Варвару шуганул. Я это выбежал из сенцев, а она воду черпает. Ну и ах, ох! Да... Вот товар залежался. Не знаю только, с какого боку подбраться.

– Че-го-о?

– Не знаю, говорю, какую тактику применить. Бабы, они как лошадь: у каждой свой норов.

– Дурак! Она насколько тебя старше? Мы сосунки против ей.

– Ты баб не знаешь, – спокойно возразил Егорша. – А они, которые в годах, любят молоденьких. Уж я-то знаю.

– Скажи какой знаток!

– Ладно. Ты про аппетит слыхал?

Михаил улыбнулся: сейчас Егорша расскажет какую-нибудь пакость – на всякий случай у него анекдот да притча.

– Так было дело. – Егорша поворачивается к нему лицом. – Баба одна аппетитом маялась. Ну, худо ела, понимаешь? Муж ей и то и се, всяких там продуктов-пряников в лавке закупит – до войны дело было, – полный стол наставит. Ешь, жена, чего хочешь. Не ест. Как кобыла худая морду от сена воротит. Ну, что ты будешь делать! Вот так-то раз поутру, часов в восемь, угощает муж жену. И опять то же самое: опять не хочу, опять аппетита нету. А мужику за дровами ехать надо, лошадь в упряжке под окошком стоит. «Ладно, говорит, поеду, а ты, говорит, посиди, подожди. Должен появиться аппетит». Ну, жена послушная, как наказал муж, так и сделала: сидит у стола, ждет, когда появится аппетит. А тут откуда ни возьмись – солдат, под окошком топает. Разудалый такой Ванюха-хват, с царской службы домой пробирается. Жена, ну, эта самая Авдотья, увидала – «слышь-ко, говорит, тебя, говорит, не Аппетитом зовут?». А солдату все едино – как ни назови. «Аппетитом». – «Дак я же, говорит, который день тебя жду. Заходи скорее»... Ну, после полудня возвращается муж с дровами. Рад-радехонек! На столе ни крошки, и жена веселая. «Что, говорит, был у тебя аппетит?» – «Был, говорит. Поезжай скорее по сено. Он на ночь обещался прийти»... – Под смех Михаила Егорша закончил: – Видишь, когда еще баба аппетитом маялась. До войны. При живом муже. Соображаешь теперь?

– Сукин ты сын! – сказал Михаил. – И завсегда у тебя какая-то ерунда на уме. Ты лучше скажи, как теперь жить будем.

– А что?

– Как что? Война кончилась, а дальше?

– Тю, нашел о чем горевать. Не беспокойся. Там, наверху, большие мужики газеты читают...

– Да я не про то. Как ты не понимаешь! Вот, к примеру, ты. Я бы на твоём месте учиться мотанул, честное слово.

– Мотай на здоровье. Нынче никому не запрещено.

– Болван! У меня сколько на шее? А у тебя один дедко, да и с того еще ты тянешь...

Егорша повернулся на спину, подложил под голову веник. Затем, помолчав, объявил:

– У меня задача покамест такая – добыть серп с молотом. А дальше поглядим, что и как.

– Чего-то я раньше не замечал, чтобы тебя к кузнице тянуло.

– И сейчас не тянет.

– Дак чего же?

– Мне надо такой серп и молот, – сказал Егорша, потягиваясь, – у которых крылышки. Чтобы подвесился к ним и полетел, куда захотел.

– А, ты вот о чем, – догадался Михаил. – Про паспорт. Не знаю. Сосны да ели и без паспорта нас признают.

– С колхозным леском покончено, – сказал Егорша.

– Это кто тебя отпустит?

В сенцах что-то брякнуло, вроде дужки от ведра, потом Лизкин голос:

– Есть ли жар-то?

Егорша живо приподнялся на полку, заорал:

– Лизка! Потри спину!

– Я те потру. Батогом суковатым. Подойдет?

Когда в сенцах все заглохло, Михаил рьяно, исподлобья поглядел на Егоршу, коротко бросил:

– Ты говори, да знай с кем.

– Ну еще, нельзя и пошутить.

Лизка снова вернулась в сенцы.

– Я из-за этого зубана забыла, зачем и пришла. Тебя Анфиса Петровна ждет. Срочно, говорит, Михаила надо. Так что больно-то не размывайся. В субботу вымоешься.

– Ну вот, – сказал Михаил и невесело усмехнулся. – Не успел одну грязь смыть – другая ждет.

– Да, – сказал Егорша, – колхозная жистянка известна: из одного хомута да в другой. Нет, я нынче поворачиваю на все сто восемьдесят. Баран и тот, понимаешь, башкой иногда крутит, а мы что... Царь природы...

## 2

Приход председателя на дом да еще в день приезда из лесу ничего доброго не сулил – Михаил хорошо это знал по прошлому. Опять какое-нибудь пожарное дело: либо за сеном тащись с бабами на ночь глядя, либо – семенами у соседа разжились – мотай срочно за семенами... Одним словом, выручай, Михаил. И потому он мрачно, почти с ненавистью покосился на Анфису Петровну, сидевшую на передней лавке с Татьянкой на коленях.

Первые же слова Анфисы Петровны ошеломили его. Анфиса Петровна послала его в город. Дело в том, что Лобановы получили от своей невестки письмо (только что, с сегодняшним парходом), и та пишет, что может помочь колхозу машинным маслом да мазью – на складе работает.

– Я думаю, такой случай упускать нельзя, – заключила Анфиса и своими добрыми и умными глазами посмотрела на него.

Михаил машинально, не раздумывая, кивнул головой: конечно, нельзя. И масло и мазь позарез нужны колхозу. Ведь за эти годы чем-чем только они не смазывали свои немудреные машины! И дегтем, и салом, и всяким варевом, от которого за версту несет воню.

– Поезжай, – говорила Анфиса Петровна. – Заодно и город посмотришь. Я вот до сорока годов дожила – ни разу не бывала.

Михаил в нерешительности посмотрел на ребят, на мать – дел дома куча. А главное – с чем ехать? С картошкой одной в Архангельск не поедешь. Но Анфиса Петровна уже предусмотрела и это – выписала двенадцать кило жита. Фуфайка страшная, стыдно на люди показаться, как говорит мать? Пожалуйста. И этой беде можно помочь. Найдется фуфайка, заверила Анфиса Петровна, и даже костюм Григорьев можно попримерить.

Михаил решил – раздумывать некогда, «Курьер» приходит сверху рано утром.

– Мати, затопляй печь! Лизка, носи мешок!

На колхозный склад он влетел разгоряченным жеребцом – только что не заржал: глаза горят, грудь как мехи кузнечные, и сила такая – все сворочу!

– Из какого мешка? Говори!

Варвара указала на дальний угол.

Михаил затопал – половицы завизжали. Мешок – немалый – поднял играючи, пропер к весам без передышки.

Варвара ахнула:

– Ну, какой ты мужчина стал!

– Растем! – отшутился он. – И ты девкой стала.

– Да, верно что девкой. Опять замуж можно выходить. – И рассмеялась невесело.

А вообще-то молодец баба! Терентия убили в прошлом году, а кто слышал от нее стон? Правда, женки вписали ей это в строку: сердца нет. А может, она назло всем чертям так делает? Слезу пускать да реветь – это каждый умеет. А ты вот попробуй рот скалить, когда у тебя сердце кровью обливается.

Рот у Варвары красивый, белозубый, смехом налит – нету такого другого рта в Пекашине. И, глядя на ее моложавое, высветленное вечерним солнцем лицо, Михаил вдруг вспомнил давешние слова Егорши. Придумает же, сукин сын!

– Ты чего это развеселился? – спросила Варвара и снизу, от весов, посмотрела на него.

– Да так...

– Знаю, знаю, что у тебя на уме. Я еще тогда – помнишь, в поле ты Дунярку высматривал? – сказала себе: быть моей племяннице за Мишкой! Ух и погуляем на свадьбе!

– Иди ты к черту!

Он ткнул карандашом в ведомость, схватил свой мешок с зерном. Варвара, довольнехонька, засмеялась (первое это удовольствие для нее – вогнуть человека в краску), а когда он был уже на улице, окликнула. Подошла, роясь в брезентовой сумке, – начальство, завскладом!

– Ты вот что мне. Чулки городские да подвязки на резинке привези.

Михаил ошалело попятился назад.

– Ну-ну, – совала Варвара деньги со смехом, – привыкай. А сам не можешь, Дунярку или Онисью попроси. Там, на рынке, говорят, всякой всячины.

Пришлось принять деньги – дьявол с ней, пускай наряжается.

### 3

Когда Михаил очень спешил, он обычно ходил задворками либо подгорьем. Потому что стоило ему показаться на улице, как бабы со всех сторон наваливались на него: этой поправь крышу, той подними дверь – каждый раз с боем и она сама, и ребята попадают в избу, а у третьей и того срочнее дело – потолок «заходил» над столом.

И он ладил крыши, поднимал двери, подводил всякие подпоры под прогнившие потолочины, отбивал и наставлял косы, рушил постройки на дрова. Да, оказывается, и эта работенка – наводить разруху на деревне – кое-какой сноровки требует. Крепко старики строили – пока бревно от сруба оторвешь, семь потов с тебя сойдет. В общем, его мужские руки нарасхват рвали безмужние бабы.

И то же самое сегодня. Только он выкатился со склада на переднюю улицу да подумал, не лучше ли повернуть обратно, на задворки, – стоп: Окуля Зубатка. Выстала с топором на самом углу – расклинь топорище.

– Давай в другой раз. Я в город еду.

Окуля что-то забормотала себе под нос – насчет совести, насчет того, что она ведь незадаром просит.

И тут Михаил понял, на что намекает Окуля. На то, что он ее должник. В прошлом году, травяного настоя брал от скрипа в коленях.



Михаил аж затрясся от ярости. Сколько он этой старой сквалыжине всякой работы переделал – и избу перекрывал, и две весны участок пахал, – а тут про какой-то травяной настой вспомнила!

Но дьявол с тобой – давай сюда топор.

Вот так и пошло. У Окули топор, у Дуни Савкиной крыша – еще осенью, уезжая в лес, пообещал сменить гнилую тесницу.

– Нет-нет, не могу сейчас! – замахал он руками еще издали. И – мимо.

А Петр Житов не Дуня Савкина – мимо не проскочишь. Петр Житов кого угодно по стойке «смирно» поставит. Ежели не горлом, то своим протезом. Криком кричит у него донельзя разношенный протез.

– Мишка, это правда, что ты в город едешь? Дак вот, мальчик, поручение. – И далее Петр Житов усадил его на крыльцо и начал обстоятельно втолковывать, где и как разыскать в городе протезную фабрику. Срок носки протеза у него вышел еще год назад – и почему никакого внимания к инвалиду Отечественной войны? Неужели он, Петр Житов, не заслужил железной ноги?

Еще хотела заарканить его Раечка Клевакина. Раечка выбежала с маслозавода:

– Эй, приворачивай! Машина сломалась!

Возможно, вполне возможно, что у сепаратора опять какая-нибудь гайка размолосась – старый, одного года рождения с колхозом сепаратор, – но Раечка-то его, конечно, не ради сепаратора звала.

В прошлом году завозились на пожне бабы и девки, штук пятнадцать навалились на него сразу – где тут справишься? И вот чтобы хоть как-то выйти из положения (позор – бабы выкупали!), Михаил уже в последнюю минуту схватил в охапку Раечку и закричал дурашливым голосом: «Эх, уж ежели тонуть, то тонуть только с Раечкой!»

И, наверно, понравилось Раечке их совместное купанье – с той поры она постоянно стала попадаться ему на глаза, даже с Лизкой завела дружбу, чтобы заходить к ним домой.

Лично Михаил ничего против Раечки не имел. Девка красивая, жаркая – зимой в самый лютый мороз в одном платье выбегает с маслозавода дрова колотить. И не жадная – даром что дочь Федора Капитоновича.

Но только ему-то, Михаилу, на кой она ляд сдалась. Разве он променяет когда-нибудь Дунярку на Раечку? Да хоть тысячу Раечек выставь сразу, все равно не получится одной Дунярки.

С Дуняркой они виделись за эти годы раза три, не больше. И то на лету, мимоходом. Потому что Дунярка приезжала домой на каникулы летом, а летом он по неделям безвыездно жил на дальних сенокосах или трубил опять на сплаве, далеко, за десятки и сотни километров спускаясь с багром вниз по Пинеге.

Но была у Михаила одна вещица, которая сильнее всяких встреч вязала его с Дуняркой, – платок, маленький носовой платочек, расшитый Дуняркиными руками. Этот платочек Дунярка стыдливо сунула ему на поле в сорок втором году, накануне своего отъезда в техникум, и с тех пор Михаил не расставался с ним ни на один день. А как-то раз он забыл его дома в кармане верхней рубашки, которую бросил в стирку. И вот поскакал домой обратно. С сенокоса. За пятнадцать верст. Ибо никто не должен знать про ихнюю тайну с Дуняркой. Ни один человек в мире. Ни чужие, ни свои, домашние. И даже Егорша, хоть он и первый друг.

Лизка – молодчага, не сидела сложа руки. Пока он ходил за житом, она заново подтопила печь, и зерно сразу же высыпали на противни, поставили в печь на просушку.

Михаил зажег лучину, пошел с двойнятами в сени: в каком состоянии мельница?

Жернова он поставил у себя в прошлом году – надоело ходить по людям. Опыта у него в этом деле не было, все больше по догадке, на ощупь делал, из стариков тоже никто толково не мог подсказать (Архип Иняхин, знаток по этой части, умер год назад), и мельница получилась так себе – постоянно что-нибудь ломалось. Да и мельников развелось слишком много, весь верхний конец крутил Михайловы жернова, а ведь известно: у каждого мельника своя рука, свой нор – вот и поломки.

Нынешняя поломка, к счастью, оказалась небольшой – соскочил железный обруч с верхнего жернова. Тут, пожалуй, виноват он сам. Плохо вымерил жернов и обруч сантиметра на полтора сварил больше, чем надо. А клинья всякие и расклинья – крепь, как известно, ненадежная: чуть дерево усохло – и заходил обруч, а то и вовсе слетел с жернова.

– Светите лучше, – сказал Михаил, передавая лучину двойнятам.

Березовые клинья у него были наготове, и он быстро набил обруч. Оставалось еще два дела: похлопотать насчет одежки (может, и в самом деле подойдет костюм мужа Анфисы Петровны) и заскочить к Лобановым.

Он сперва побежал к Лобановым, потому что легче, кажется, зуб вырвать, чем зайти к Лобановым. У кого по нынешним временам нет покойника в доме, а у Лобановых целых три. И все свежие. Все сорок пятого года. И еще один сын пропал без вести – тот, у которого жена в городе.

Было поздно, солнце уже зашло, и у Лобановых ложились спать. На полу, как страдой в сенной избушке, некуда поставить ногу, вповалку ребятишки и бабы, и Михаил, как журавль, вышагивал между ними, пробираясь к окошку, у которого с хомутом сидел старик.

– В город еду. Чего невестке накажешь?

Трофим то ли не расслышал, то ли на уши легли похоронки, часто замигал – раньше у него тоже миганья не было.

– В город, говорит, еду, – громко прокричала ему на ухо Михеевна. – Спрашивает, чего Онисье накажешь.

– Ах, в город... – Трофим опять захлопал глазами. – Скажи, чтобы с места не сбивалась. Вот мой наказ. Пушай не выдумывает: домой хочу. – Старик помолчал, кивнул на пол. – Сам видишь...

Выйдя от Лобановых, Михаил свернул сигарку и, высекая искру, по давнишней привычке посмотрел на запад, в ту сторону, где был Архангельск.

Густо горел закат, темное, иссиня-чугунное облако плавилось в его багровом пожарище. А над облаком, над самой вершиной его, нежным, неземным светом лучилась первая звездочка.

Михаил загадал: если облако не задавит звездочку, покамест он идет до дому, – значит, в городе его ждет счастье.

Дома мололи – каменный грохот сотрясал приземистую избу, поветь, двор. Щели в воротах на крыльце были красные от лучины, и вкусно, как на мельнице, пахло теплым, размолотым зерном.

Михаил поглядел на запад. Звездочка была на месте. Чистой серебряной каплей переливалась она над рваной кромкой чугунного облака.

## Часть вторая

### Глава шестая

#### 1

Кончался еще один год. Страна подводила итоги.

Завистью пухло сердце у Михаила, когда он по вечерам, заглянув в колхозную контору, натыкался глазами на центральную газету.

Где-то шумела большая жизнь, где-то жили крылатые люди – богатыри, которые ежедневно и ежечасно совершали подвиги во славу родины и красочно рассказывали о них в своих письмах и рапортах.

А что в Пекашине? Какая жизнь?

Снежные суметы вровень с окошками. Мутный рассвет в десятом часу утра.

Днем прочиликает, утопая в сугробах, стайка детишек, возвращающихся из школы, проскрипит воз с дровами или с сеном, еще покажется в своем ежедневном, обходе очкастый Ося-агент, от которого, как от чумы, шарахаются бабы, – и вечер. Длинный вечер с дымной лучиной, с одной и той же заботой – что будем жрать завтра. Потом ночь. Хочешь – дави печную кирпичину, хочешь – смотри бесплатное кино: северное сияние. Хоть всю ночь. И со звуком. Проклятая Векша из себя выходит, когда в морозном небе за деревней начинают плясать и переливаться серебряные сполохи.

Нет, не о такой жизни мечтал Михаил...

#### 2

Все спали. Ребята спали на полатах, мать с Танюхой – на печи, а он не спал. Он сидел в дрожащем кругу розового жара и тоскливыми глазами смотрел на догорающие в печке дрова.

И еще было в избе одно существо, которое томилось в этот вечер. Елка. Она лежала под порогом в темноте и на всю избу источала смоляной аромат.

Елку он вырубил в сумерках, возвращаясь с сеном с Верхней Синельги. Думал: вот обрадуются ребята! А ребята посмотрели недоуменно на него и отвернулись. И Михаил понял: что им какая-то обмерзлая елка – в лесу выросли. А вот если бы эту елку да обвесить конфетами и пряниками, а еще лучше хлебными горбухами – вот тогда бы – да!

Тогда бы они глаз не сводили с нее. Так и осталась лежать елка под порогом.

Новый год не торопился. Стрелка на часах – они сонно потикивали на дощатой заборке за спиной – никак не могла перевалить за десять.

А ведь есть на земле люди, думал Михаил, которые сейчас с минуты на минуту ожидают прихода Нового года. И сами они такие же нарядные, как та елка, которую он видел на днях на обложке «Огонька». И в их квартирах столы с белыми скатертями, вино, всякая жратва. И вот они сядут за эти столы и поднимут бокалы под звон кремлевских курантов...

Дрова прогорели. Михаил помешал кочергой в печке. Подложить еще? А что ему сдался этот Новый год? Ну, дождется, когда часовая стрелка подойдет к двенадцати, это нетрудно. А дальше что?

Михаил подождал, пока не растаяли синие угарные огоньки над раскаленной россыпью углей, потом еще раз помешал кочергой, закрыл листик в трубе.

На ночь он решил выбросить елку на улицу. Зачем – чтобы она еще утром мозолила всем глаза?

Но елка не хотела на мороз. В темноте она кололась, крупными слезами заливала ему руки. И Михаил раздумал: ладно, оставайся до утра.

В ночном небе ярко горели звезды. Михаил запахнул полы полушубка – морозец что надо, – вышел, рыхля свежий снег, на дорогу.

Куда пойти? Ни одного огонька не было вокруг. Дорогу замело, загладило. Пухлые сугробы залегли вдоль изгороди.

Он поглядел в ту сторону, где за деревней неясными увалами чернели ночные леса. Там была Сотюга. И он пожалел, что не поехал туда. А ведь собирался было: давно пора проведать Лизку – как уехала, ни разу не была дома, – а заодно повидать и Егоршу. Сколько еще дуться? В каких переплетках они раньше не были, всю войну вместе расхлебывали, а тут, в тот вечер у Евсея Мошкина, удила закусили и давай лягать друг друга. И из-за чего?

Признаться, он, Михаил, поджидал сегодня Егоршу. Вот-вот, думалось, загремят ворота, ввалится с мороза Егорша: «Ну что, Коля, не ждал?»

Уши и нос пощипывало. Обмерзлый ушат потрескивал на крыльце.

Эх, жизнь, жизнь... Ну, что изменилось от того, что он стал бригадиром? Только ходьбы прибавилось – каждое утро надо обежать деревню. А в остальном все то же: сено – дрова, дрова – сено...

Он прошел на задворки, наколупал в пазах моха. На курево.

### 3

А все-таки дед Мороз не обошел Пряслиных.

Ночью Михаил проснулся – стучат. Он спрыгнул с кровати, подбежал к боковому окошку, ткнулся разгоряченным лицом в заледенелое стекло. Никого. Неужели ему показалось?

И вдруг оттуда, с холода, донеслись притворно-жалобные слова:

– Пу-сти-те по-греть-ся...

– Мати, мати! Лизка приехала!

Ночная тишина в избе будто взорвалась. Анна со словами «иду, иду!» уже открывала двери (она-то, наверно, еще раньше его услышала стук в окно), а на полатях, на печи загорланили ребята: «Лизка, Лиза приехала»...

Михаил кинулся искать спички.

В их семье не принято было обниматься и целоваться. Но когда из морозного облака под порогом вдруг блеснули знакомые глаза, густо запорошенные инеем, он не удержался – сгреб сестру в охапку.

– Лиза, Лиза, мне, – запричитала Танюха, слезая с печи.

И Лизка, протягивая к ней руки, расплакалась:

– Иди, иди, моя хорошая. По тебе-то я больше всех соскучилась.

А потом она обнимала остальных – Петьку и Гришку (эти обхватили ее оба вдруг), Федюху, насупленного, не спускавшего взгляда с корзины, которую вслед за Лизкой внесла в избу мать, – и для каждого находила особое словечко.

Михаил первый опомнился.

– Мати, чего стоишь? Наставляй самовар. А может, ты замерзла – баню затопить?

– Да что ты, парень? – удивилась Лизка. – Какая ночью баня?

Лизку раздевали всей семьей. Кто стаскивал с ног обмерзлые валенки, кто расстегивал ватник, кто снимал с головы шаль. И она, растроганная, не привычная к такому вниманию, только качала головой:

– Я не знаю, вы со мной, как с маленькой. Я ведь не откуда приехала – из лесу.

– А я уж думал, не приедешь, – сказал Михаил. – Ждал-ждал – лег...

– Что ты – не отпускали. Хорошо, Илью Максимовича на совещанье в район вызвали. Как хотите, говорю, поеду – девять недель дома не была. Я ведь теперь за повариху.

– За повариху?

– Ну да. Разве Петр Житов не сказывал?

– Нет, ничего не говорил.

– Третью неделю варю. Ничего – люди не жалуются.

– Ну, это ты молодец! – радостно сказал Михаил.

– Худо ли, – подтвердила мать. – Все не в снегу. И лишняя ложка похлебки достанется.

В задосках зашумел самовар, и ребята, как по команде, уставились на корзину.

И корзина, та самая берестяная корзина, с которой раньше ездил в лес Михаил, раскрылась.

Буханка ржаного хлеба, другая. Сухари. И еще сахар – целую горку мелко наколотого сахара насыпала Лизка из мешочка на стол.

Ребята ахнули. А Михаил, растерянно моргая, только махнул рукой. Ну что тут скажешь? Не дура ли девка? Бывало, в лесу намерзнешься за день – только и радости чайку горячего попить, а если еще приведется огрызок сахара – праздник. А эта, дура набитая... Ах...

И была зимняя ночь. И за окошком лютовал мороз – с треском, с яростью, как голодная собака, вгрызался в промерзшие углы.

А им – что! Им плевать и на ночь и на мороз. Красный самовар клокочет на столе.

Ешьте, пейте, ребята! Новый год идет по земле.

#### 4

– Бежите, разгребите дорожку на задворках, – говорила шепотом мать.

Ребята заулыбались – она это почувствовала, не глядя под порог, – и хлопнули дверью.

– А ты, бес, не вертись! – зашипела мать на Татьянку. – Дай поспать человеку.

– Да я, мама, не сплю, – сказала Лизка и открыла глаза.

В избе было уже светло. С оледенелых окошек красными ручьями стекала заря на белый пол.

Татьянка вскочила на залавок, приподнялась на цыпочки и крепко обхватила ее холодными ручонками за шею.

– А ты чула ли, как я вставала? Я уж пол подпахала, вот.

– Подпахала... Все утро, как кобыла, скачешь. Человек из лесу приехал, а тебе хоть говори, хоть нет.

– Дак ведь она не спать приехала, – возразила матери Татьянка. – Да, Лиза?

– Да, да.

Лизка слезла с печи, босиком прошла по избе. На Ручьях в бараке так не пройдешься – там всегда холодина под утро, – и она скучала не только по родным. Все тело ее скучало, а пуще всего ноги скучали по этому вот избяному теплу.

– Да, теплом-то мы, слава богу, не обижены, – сказала мать, словно угадывая ее мысли. – Осенью, как ты уехала, Михаил опять подконопатил стены.

Пока Лизка умывалась да расчесывала волосы, мать принесла с повети веник.

– Собирайтесь в баню.

– Что, уже истоплена?

– Как не истоплена! – Мать улыбнулась, разглядывая ее на свету. – Разве не чула, как брат из-под тебя лучину доставал?

– Нет, – призналась Лизка и покраснела. – Я замерзла дорогой – как убитая спала. А где он сейчас?

– Михаил-то? Не говори – весь прибежался. Да он и глаз не смыкал. Баню затопил, заулок разгреб – в лес побежал. У Петра Житова ружье взял. «Не могу ли, говорит, кого убить. Чем гостью-то, говорит, кормить будем».

– Я не знаю, мама, вы как с ума посходили. Какая я гостья?

– Ладно. Пушай. Рад ведь – сестра праздник привезла. И копейка снова в доме завелась... – Мать коротко всплакнула.

– А ты разве привезла денег-то? – спросила Татьяна. – Пошто я не видела? Где они?

– Поменьше спать надо, – сказала Лизка и рассмеялась от радости.

Ночью, после чая, – Татьяна сразу же убралась на печь – она дала брату полный отчет. Сколько заробила, сколько прожила – все, до последней копейки выложила. И Михаил только руками разводил: «Вот никогда не думал, что из твоих рук деньги принимать буду»...

Улица ослепила ее своим блеском. Заулок расчищен до изгороди. Пушистая елочка выглядывает из свежего сугроба, накрытого к крыльцу. Откуда она взялась? Не из леса же за ней прибежала?

Но особенно растрогала ее Звездоня. Узнала, нет ли ее по шагам, когда она поравнялась с воротами двора, а голос подала. Ворота для тепла были заставлены ржаными снопами. И от них шел белый парок, приятно пахнущий жилым теплом и навозом.

На задворках Лизку встретили братья с лопатами. Щеки покраснелись, глазенки блестят.

– Иди. Мы до самой бани дорожку разгребли.

И она пошла по этой дорожке. Пошла неторопливо, бездумно любуясь сиянием зимнего дня.

Семеновна, черпавшая воду из оледенелого колодца, не признала ее.

– Чья ты? Худо ноне вижу...

– Давай – «чья ты»! Соседку не узнала...

– Ли-и-за! О господи... Вот как ты выросла... В байну пошла?

– В байну. Заходи в гости – я чаем с сахаром напою.

Сзади слезы, всхлипыванья:

– Вот какая девка у Анюшки выросла... А я и не узнала. Заходи, говорит, чаем с сахаром напою...

Татьянка, бежавшая впереди, быстро обернулась и осуждающе посмотрела на сестру.

– Ты чего это ее звала? Мы и сами сахар-то съедим.

– Ой, какая ты жадюга, Татьяна! Как язык-то у тебя повернулся. Глызку сахара старухе пожалела...

– Ну и что, – не сдавалась Татьяна. – Это ты каждый день чай с сахаром пьешь, а мы-то все без сахара.

Лизке вспомнились Ручьи, барак, лесная жизнь. В полянку идешь в потемках, в барак возвращаешься в потемках. Ватник скрипит, как шлея на лошади, – задубел, заледенел: побродил-ко целый день в снегу до пояса.

Нет, нет, не сахарная была у нее жизнь на Ручьях. Но ради вот этого дня, который она проживет сегодня дома, она бы начала эту жизнь сызнова.

Да, это был ее день. Для нее топил брат баню, для нее ходили на цыпочках все утро, пока она дрыхала на печи, для нее ребята разгребали вот эту дорожку, по которой она шагает сейчас.

Михаил удивился – дома сидели без огня.

Задеревеневшими от холода руками он чиркнул спичку, зажег керосинку на столе. Где ребята? Ловушку какую-нибудь приготовили для него?

Ребята были на печи – в сутемени сухо сверкали их глаза. Он вынул из-за пазухи заочневшего рябчика, положил на стол. Тот стукнул, как деревянный.

– А где у нас гостья?

Молчание.

– Где, говорю, Лизка? Чего на печь забрались – печку не затопите?

– Уехала... – ширнула носом Татьяна и громко заплакала.

– Уехала? Как уехала?

– Петр Житов увез. Собирайся, говорит, ехать надо.

Вот так хреновина... Да как же так? Ведь они и не поговорили как следует...

– Давно уехала?

– Недавно... Мама провожать ушла...

Михаил кинулся вон из избы и едва не сбил в дверях мать.

– Бесстыдник! В кои-то поры девка домой выбралась, а он в лес укатил. На весь день...

– Да разве я знал? А у тебя-то кочан на плечах? Кой черт случилось бы – и завтра уехала.

– Не своя воля. По судам-то ей еще рано ходить.

– По судам! Так уж сразу и по судам. И ночью бы в крайнем случае отвез.

– То-то много ты к ней ездил. Девка без мала три месяца в лесу выжила – бывал ли хоть раз?

Михаил сел на прилавок к печи, достал банку с махоркой. Махорочку – три пачки – привезла сестра. Не забыла, что надо брату. А он, выходит, как та скотина: ей сено в пасть суют, а она рогами да копытами. Но разве он для собственного удовольствия целый день убивался в лесу? Ведь хотелось как лучше. Сестра приехала, а чем кормить?

Рябчика он свалил с ходу в Поповом ручье. Обрадовался – вот, думал, какая везучая у нас Лизка: не успел в лес зайти, а уж оперился. А потом ходил-ходил, мял-мял лыжами пухлый снег, все ельники по за навинам выходил – никого. Вымер лес...

Михаил поднял голову, глухо спросил:

– Валенки-то у ей как? Целы?

Это внимание с его стороны к сестре несколько смягчило мать. И она, затопляя печку, стала рассказывать, как Лизка ждала его целый день. «Никуда не вышла. Хотела по деревне пройтись – где тут? Брат с ума нейдет. И уж она, мое горюшко, попереживала. И в окошко-то глянет, и на крыльцо-то выбежит... А тебя все нету и нету – как сквозь землю провалился... А как в сани-то стала садиться – еще же брат на уме. «Мама, кричит, привет Михаилу сказывай»...

Потом мало-помалу в разговор включились малые. Ах, ох! Лизка надела белое платье... Лизка вплела в косу красную ленту... Лизка играла с ними в жмурки... Лизка клевала мерзлую рябину – сладко...

© Абрамов Ф.А., правообладатели

Источник публикации: Две зимы и три лета : роман // Новый мир.— 1968.— № 1.— С. 3-67 ; № 2.— С. 10-69 ; № 3.— С. 68-132.